

Стихотворения
Анатолия Наймана

Эрмитаж

Стихотворения Анатолия Наймана

С ПОСЛЕСЛОВИЕМ

И О С И Ф А Б Р О Д С К О Г О

Эрмитаж

1989

Стихотворения Анатолия Наймана

Stikhotvoreniia Anatoliia Naimana

(Poems by Anatolii Naiman)

Copyright © 1989 by Hermitage

For *Posleslovie* by Joseph Brodsky

Copyright © 1988 by Joseph Brodsky

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Naïman, Anatoliï.

[Poems. Selections]

Stikhorvoreniia Anatoliia Naïmana / s poslesloviem Iosifa Brodskogo.

p. cm.

Title on verso t.p.: Poems by Anatolii Naiman.

Romanized record.

ISBN 1-55779-014-0: \$8.00

I. Title. II. Title: Poems by Anatolii Naiman.

PG3484.A48A6 1989

89-19817

891.71'44--dc20

CIP

Published by HERMITAGE

P. O. Box 410

Tenafly, N. J. 07670, U.S.A.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ

*Как в час, когда под сенью
дерев внимал поэт
блаженному виденью,
забыв о беге лет... —*

.....

*как в час во время оно,
когда звезда любви
глядела в сад Платона
и пели соловьи... —*

.....

*так здесь сейчас прекрасно!
И сердце наяву,
как прежде в снах, подвластно
природы тожеству.*

Гельдерлин

Меньше, чем нас,
нас, бредущих сквозь жерла аллей, — всех осталось аллей-то.
Хриплый рожок,
на побудку солдатский рожок и пастушечья флейта
треплют эфир,
голубой животворный эфир и поток флогистона.
Эта земля —
как и та, где другие живут, под названием зона.
Скрипки крестец,
в картах — жидек, трефовый валет, посетивший Освенцим,
и наконец,
чтоб опять не свернуть в полонез, чтоб понравилось немцам,
ругань фанфар,
бриллианты харкотин, орда, керосинная лампа,
кельтская кость
над шотландской волынкой блестит и виола-да-гамба.
Траурный марш,
погребальный торжественный марш — на дорожку умершим.

Пламя литавр
ослепи похоронный оркестр, мы немедля поддержим.
Тянет зимой.
Мни замазку, пазы конопать, завари в кухне клейстер,
бритвой стекло
там, где мрамором сделался мел, поскреби капельмейстер.
Скоро зима,
громко листья скребутся у ног, растворяется вечер,
тянет снежком,
пахнет ветром растаявший снег, снегом выпавшим — ветер.

Осень прошла,
одичалой листвы лоскуты бритвой ветра разрежем.
Тянет зимой,
кристаллическим цельным пластом, тянет белым и свежим.

Плакальщиц хор
утоляет потребность в слезах, громогласен ударник,
тих пономарь,
цедят брагу и варят кутю, развели тут свинарник.

Жизнь коротка —
это старость и гнилостный дух и штаны нараспашку.
Смерть старика —
только снег, снег на все... на него ж — из батиста рубашку.

Много ль хлопот
расторопным судейским свисткам и пастушеской флейте —
меньше, чем нас,
узнающих друг друга в лицо, не бывает на свете.

Мы — это мы,
не при чем тут плоды Гесперид под рукой аргонавта,
мы — это те,
кто готов был служить красоте, да расстроилась правда.

Траурный марш —
на дорожку в пространственный ад отлетевшим минутам,
клятвенной лжи,
прохлаждениям интимным в ночи по публичным маршрутам,

черной любви,
вожделенью, влеченью, тоске, нагоде, сладострастью,
зверю без глаз,
смуглой леди в мужицкой шерсти с дымной алчущей пастью.
Крики трубы,
исступленные крики борьбы, обращение в веру,
шелест сетей,
начеку человеклов ловцы под хрустальную сферу,
с ветром лети
по сверкающей глади, как все, похотливый пузырьрик,
горе тому,
кто кирпичную выбрал тюрьму вместо белых базилик.
Праздник и скорбь
перемешаны в похоронах. Хватит искр в фейерверке,
чтоб уравнивать
убиенных невинно число — по завышенной мерке.
Хватит еще
едоков, алкашей и речей дураков седовласых,
только что нет
ни кутьи, ни вина, ни молитв, ни священников в рясах.

В выборе тем,
но не в пении струн клавесин сладкозвучнее лютни.
Небу — орган,
а валторна дает петуха, но валторна уютней.

Траурный марш
не похож на небесный хорал, это детские сказки.

По одному
мы гремим в безвоздушный Аид альпинистами в связке.

Выбором мест,
переменной прекрасных пространств не спасешься от жизни,
глянешь окрест —
новых стран горизонт под ступней, голова же в отчизне.

Есть вертикаль,
по которой взмывает душа, чтобы слиться со всеми.

Сменой пространств
загоняется жизнь в глубину, исцеляет же время.
Беден трюизм,
ослепительно бледен трюизм, в гроб кладут много краше.
В сердце тоска,
когда резкий подъем или спуск, — полетайте-ка с наше.
Зона земли,
предназначенная для людей, выражается степью.
Мы не рабы,
и от прописей всех букварей отбиваемся цепью.

Бьет барабан,
под удар загоняет удар, распадается в эхо,
воздух дрожит,
но, увы, не трепещет душа — где-то в мыслях помеха.
Время пришло,
от возлюбленных ласкою мы добиваемся дружбы,
но не любви,
раз любви — после вечной любви — мы становимся чужды.

Дышит тоской
холодами, тем светом, концом теплый ветер осенний.

Время пришло,
прояснился из мрака герой под лучом сновидений.

Любят всегда,
даже если не любят уже, и тогда еще любят.

Ближе к концу,
чем нежнее лелеют любовь, тем страшней ее губят.

Каждую прядь,
каждый локон, кольцо, завиток и до пояса косу
траурный марш
воспевать будет вплоть до черты и за ней — безволосу.

Вот когда шелк
щекотавших ладони волос в медальоне, в конверте
будет хранить
то, что людям яснее любви и ужаснее смерти.

Мы — это он,
остающийся здесь после всех, разбирающий письма.
Лишь одного
славит траурный марш каждый раз — тоже вроде триюзма.
Стать наконец
тем единственным, первым, одним, а не младшим иль старшим.
Это любовь
проплывает сквозь сумрак аллеи тихим траурным маршем.

Пресная речь,
как всегда, в достославной связи с беломраморной плотью.
Выпарку слез
в оркестровые щели швырни полновесной щепотью.
Кончился сон
снегопадом, разливами рек и беззвучным обвалом,
и поутру
проступила неясная тень на великом и малом.
Зелень сосны,
зелень вечнозеленой сосны, отливавшую лаком,
ветер весны
закрепил на снегу голубом, сизом, алом и всяком.
Жившая здесь
неожиданное каждый раз принимает обличье —
девы молодой,
ветра, пламени, снега, сосны, а под облаком — птичьё.
Ласточки свист,
пара крыльев — кривой ятаган, тельце — маленький якорь,
пей пустоту,
разгоняйся и сразу табань, свод распахивай, пахарь.
Смерти дано
разлучать за мгновенье до встреч, чтоб смертельнее ранить.
Как я хочу
видеть Вас, я соскучился так!.. Хором: вечная память!

Флейты, рожки,
скрипки, бубен, валторна, фагот, барабан и челеста,
шелест и свист,
дикий ветер, трещотки, звонки, детский гомон отъезда,
клекот орла,
пени пеночки, свист соловья и малиновки слезы,
свежесть снегов,
свежесть моря, полыни, земли и растоптанной розы.
Вымерший сад
за серебряным бьется стеклом и лепечет по-польски,
страх и разлад,
обреченность, мятеж и покой в одурманенном войске,
струны ветвей
водянистый клюют потолок в мокрой колбе веранды,
колокола,
жеребцы паровозных сирен, волчьей башни куранты.
Звуки плывут,
в их отчаянье траурный марш различается слухом.
Жившим при нас
и прекрасно прожившим без нас — пусть земля будет пухом!
Пахнет зимой,
но все крепче с течением лет пахнут алые розы.
Через века
опоясывают материк виноградные лозы.

Выпьем вина
за великий ночной небосвод в наших душах и звездах!
Птица летит
и замедленно гладит крылом подвернувшийся воздух,
воздух плывет
и, по горным стекая хребтам, гладит голые скалы,
тонкий песок,
улетая к морям от земли, гладит пенные валы.
Эта земля
есть лоза есть аллея есть мы есть земля — а не зона.

Холод зимы,
из эфира родившись, горит под струей флогистона.
Си — ля — соль — фа...
Как прекрасно кого-то любить под рыданье напева!
Славен Господь,
для любого из смертных земле раздирающий чрево!

1967

ДВУХГОЛОСНАЯ ФУГА

I

— Я, — лорд заметил, — еду в Баден-Баден.
— А я, — еврей ответил, — в Гомель-Гомель.

Надутый лорд Жорж Байрон, сплин и печень.
Глумливый Мозес, часовых дел мастер.
Тот чешет по-немецки, наш — на идиш,
и этот любит стук колес, и тот.
Тот тянет «Правь, Британия, морями»,
а этот — «Встреча в Иерусалиме».
Чего еще? — Россия, двухголосье,
компания, и старый анекдот.

Я подождал, пока остынут рельсы.
Вагон последний на глазах исчез,
кузнечик заскрипел, качнулся клевер,
и я побрел к плотине через лес.

Я подождал, пока мы в наш поверим сон,
и сослепу тотчас попав в одну из впадин,
шагнул по склону вверх и твой чуть слышный стон
встревожил тишину прельстителен и жаден.
«Я сплю, — я бормотал, — я сплю», — и слышал смех.
«Я дрянь. Я вор. Ямышь. Я мертв — и нет причины
ожить. Я ночь, я негр — пахуч и влажен грех.
Я сплю». И слышал лишь: — Все подлецы мужчины.

У мельницы ручей смирял свой бег.
Внизу застыла очередь телег.
Отрывисто бросал команды мельник.
Церквушка на высоком берегу,
пять-шесть коров на пойменном лугу,
и кругл и пуст и пахнет можжевельник.
Все это я один лишь видел, сам.
Не доверяя и твоим глазам,
я даже думал, что живу, как вижу.
Пока еще колеса не стоят,
но стал дичать уже господский сад,
и поезд подошел уже к Парижу.

II

— Грядущий мир, — вскричал Никита, — зрим!
Из Закарпатья надо сделать Крым!

Во Львове (бывший Лемберг) барахолка,
костелы, месса, настоящий Гойя.
Мукачево — оплот венгерской кухни,
полночный чардаш, чехи, турки, вальс.
Швейцар жмет руку и щекочет ухо:
«Держитесь, — шепчет, — мы как прежде с вами!»
Турист всегда чуть-чуть американец.
Тебя зовут Элизабет, я Чарльз.

Я подождал, пока осядет мусор.
Вагон последний на глазах исчез,
промчался ветер, засвистели ветки,
и я побрел к плотине через лес.

Я подождал, пока тяжелое купе
с зашторенным окном всплывет во мглу вокзала,

и сверженный монарх покажется толпе,
которая с утра оцепенев стояла.
Спецпоезд, свита, двор. В дверях торчит конвой,
по лицам и рукам глазами нагло шаря.
И в мертвой тишине раздался шепот твой,
что может и к добру, да жалко государя.

Сильнее стал ручья щеглиный звук,
деревья голы, заболочен луг.
Вот мельница, она уж развалилась.
С той стороны — кар-кар, кха-кха, звяк-звяк.
Какой он мельник? Ворон — это так.
Там сплошь осока, где плотва резвилась.
Все это я один лишь слышал, сам,
хотя предназначалось вместе нам.
Какой-то рокот, гул и кашель чей-то,
гудок за лесом, тихий шум дождя,
плеск, щебет — и немного погода
альт, скрипка, контрабас и где-то флейта.

III

Надев берет, агент секретной службы
как и не я садится в Поезд Дружбы.

Обмен: туристам — сто, кто в гости — двести.
Кто в Польшу — кофе, бритвы и транзистор.
Из Англии — пиджак под замшу, джинсы.
Жрать по талонам, поезд через Брест.
Что было за границей, стало наше,
а что осталось — взяло курс на личность,
прознавшую про Кремль, икру и водку,
и курс не Юго-Запад, а Зюйд-Вест.

Я подождал, пока утихнет вьюга.
Вагон последний на глазах исчез,
день сделался просторней и позднее,
и я побрел к плотине через лес.

Я подождал, пока твои глаза и рот,
глаз, губы, брови, глаз мелькнут в оглохшей раме,
и усмирят поток напутственных острот
и Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме.
Куда-нибудь в тепло, через страну в снегах,
где влагу выпил жар, где в комнатной реторте
не обнаружив нас, ты удивишься: ах!
но ангел тут как тут в заботах о комфорте.

Ручей застыл. Под снегом жернова.
Сейчас мне, впрочем, это трын-трава.
Соедини ладони меж коленей,
и голову прижав к моей груди,
в безжизненном ландшафте разгляди
хрустальный замок наших представлений.
Жизнь наша оказалась не про нас.
Вот я пришел сюда в последний раз,
спешу освободить плечо от лямок.
Все это я один придумал, сам:
безмолвие, пустыню. Пополам
достался нам лишь неприступный замок.

1968

* * *

Кончается лето,
и вряд ли оно повторится,
и как говорится,
друзья, наша песенка спета:
забыты признанья
и слезы и трепет и клятвы,
прошла уж пора созревания
и яростной жатвы,
и двух сенокосов...
И только за дымкой полдневной
стоят Женя, Дима, Иосиф
пред Анной Андревной.

1969

КАРТИНА В РАМЕ

Хоть картина недавняя, лак уже слез,
но сияет еще позолотою рама:
две фигуры бредут через реденький лес,
это я и прекрасная старая дама.

Ах, пожалуй, ее уже нет, умерла.
Но опять как тогда (объясню ли толково?)
я еще не вмешался в чужие дела,
мне никто не сказал еще слова плохого,

кто был жив — те и живы, на воле друзья,
под ногами песок и опавшая хвоя,
кто-то громко смеется — наверное, я,
в этих пепельных сумерках нас только двое.

Все, что нам пригодится на годы вперед,
можно выбрать из груды ненужного хлама.
Мне об этом с усмешкой в тот траурный год
говорила прекрасная старая дама.

Да, конечно, ее уже нет, умерла.
Но о том, как мне жить, еще не было речи,
кто-то жалит уже — но еще не со зла,
электричества нет — но и лучше, что свечи,

печь затопим, заброшенный дом оживим
и подружимся с кем-то из призраков местных
и послушаем Моцарта — о, херувим,
он занес к нам те несколько песен небесных.

Хорошо... И хотя никакому ключу
не открыть погребенную в хламе шкатулку,
я теперь не при чем и, когда захочу,
выхожу на последнюю эту прогулку.

Свет осенний попрежнему льется с небес.
День безветренный. Тихо. И держатся прямо
две фигуры, бредя через реденький лес:
это я и прекрасная старая дама.

1969

ПРОЩАНИЕ С ЛЕНИНГРАДОМ

Звонил Ленгаз, вошла Госбезопасность.
«Едва не угнан в Осло самолет,
а вы предпочитали время года,
когда желтеют листья на дубах,
клубится зной и хлещет дождь со снегом
и фонари темнеют белой ночью —
по-шведски: солнце в полночь. Что, молчальник,
расколется теперь-то?»

Ах, начальник!

Когда-нибудь, когда не будет нас
и встанет Пермь на месте Ленинграда
и раньше срока вскроются каналы,
в такую же придурочную ночь
какой-нибудь казах или эстонец,
раздав багры и надувные лодки
энтузиастам из числа ученых,
туристам, взявшим массовостью спорт,
и наркоманам, трущимся в Сайгоне,
собьет две-три специальных опергруппы
ловить в Неве всплывающие трупы.

Да, не эпоха выплывет весной,
а с выколотыми глазами некто,
со срезанными начисто губами,
скальпированный, без бумаг, никто —
ну, знаете, неопытный стукач,
решивший завязать: заела совесть;

иль падший ангел, сервис при отеле,
возлюбленная генерала в штатском,
паскуда, нас на понт хотела взять;
иль слишком любопытный европеец —
не увлекайся, падло, стариной;
иль деятель науки, темный тип,
был заподозрен кем-то в шпионаже,
не знаю — дело, так сказать, не наше.

Не дай Бог, их протащит ледоход
там, где в гранит оделася Нева,
и вспыхнет эпидемия холеры.

Их лучше обезвредить до мостов,
на низком берегу —

где мы гуляли

с тобой, Олег, идейный враг шпаны,
когда у детворы, обставшей нас,
ты отобрал с наборной ручкой финку
и бросил в реку, так что их главарь
канючил: «Хули ты мою волну?» —
но подугас его дружины пыл,
не то б и я, быть может, так же плыл.

Тем более, что я умею плавать,
и плавал стилем треджен мой отец,
и обучу своих детей я брассу,
ведь ленинградцы все почти пловцы.
И я после ночной купался смены
на траверсе завода моего,
который гнал сметану на говне,
вблизи Крестов — читай: вблизи Кремля,
не меньшая, начальник, популярность
и та же кладка красных кирпичей;
сюда на время заперт был Иосиф
отнюдь не потифаровой женой;

а рядом в элегантной черной тройке
плыл за гитарой юный Карташов,
впоследствии злосчастный взяточдатель...
Иона... кит... Я путаюсь, Создатель.

Я плыл бы мимо датских кораблей
и финнов, в чешский лезущих автобус.
Синьор Растрелли протравил рисунки
зимы на стенах Зимнего дворца,
с чем не согласен был мой чичероне
бен-Цехновицер, тоже архитектор,
(с Орестом негодующие братья,
им всем перебежал дорогу Пушкин) —
и вот паденье пыльных листьев лавра
с развешенных венков в холодный суп,
озноб, забвенье, бедный Сологуб.

Но я сверну у зданья Биржи в Невку.
Речной трамвай, идущий в Петергоф;
внезапный запах аргентинских прерий,
где комбинат кожевенный «Марксист»
спускает в реку щелочь и мездру,
где я филонил,

где я загорал

с тобою, Лена, скромная гимнастка, —
сколь торс был мощен, столь невзрачен дух, —
и дальше, дальше, остров и залив,
где все белеет парус одинокий,
где мы полсуток на мели сидели
с тобою, Гарик, следопыт глубин...
Чем больше нас, тем больше я один.

Чем больше вас, тем меньше вас, друзья.
Иосиф. Женя. Дима. Миша. Боря.
Марина. Люда. Ксения. Марина.

Славинский. Вольф. Ефимов. Орданьян.
Мопс. Пизя. Вымя. Длинный. Несгибай.
Младенчество. Гимназия. Женьтьба.
Я разбираю ваши имена,
как на могильном камне письмена.

Простимся ж на Литейной стороне,
не то я уплыву, Госбезопасность.
Еще осталось кое в чем неясность,
но видит Бог, не по моей вине.
Прощай, прощай — но помни обо мне.

1970

МОРЕ

В неподвижности сумерек сохнет листва,
из бесплотности вылепив яблоки Ньютона,
но и здесь только боль причиняют слова,
смысл которых утерян и связь перепутана.

Ни порядку, ни правде не учат нигде,
да и много ль безумие требует времени,
ведь тогда перед Шедшим по быстрой воде
изумрудные гребни вставали ступенями.

Набегая из волн, погибают часы,
зачарованы карт раздаваемых крапами,
и назойливо крадучись, спящие псы
лижут берег еловыми мокрыми лапами.

Пробужденье торгует обрывками снов.
проворонив их паузу, ем себя поедом:
вместо льющейся речи — бесформенный рев
и покорность прозрачной земли синусоидам.

Чайки пенорожденной сгустившийся взлет
вроде таянья ангельской силы Икаруса,
воск меняя на глину и смолы на мед,
ветер бестолку мечется в поисках паруса.

Для баркасов, безвольно лежащих в дрейф
из-за бочки живого и ложки хорошего,
чем длинней, тем изорванной ткущийся шлейф,
вместо легкого кружева темное крошево.

Так давай же за семьдесят лет начинать!
Одиссей, за Урал путешествуя в камере,
даже он был не в силах на веру принять,
что, ступив на перрон, попадет прямо на-море.

Быть готовым к внезапности — лозунг копья,
и какой бы домашней ни стала невиданность
обреченного быть бытием бытия,
не во власти предчувствий спугнуть неожиданность.

Ветер в черном сукне раздувает костер,
долетит ли из этого сада хоть искра нам?
Ясно слышен последний ночной разговор,
и от имени званых я кланяюсь избранным.

1971

ПАМЯТИ Л. Г.

Теперь он мертв. А был, поверьте, жив.
О нем я вспомнил, засвистав мотив
из Брехта, «Мэкки-нож», творенье Эллы.
В те дни он извлекал его из недр
могучего магнитофона «Днепр».
В те дни шел в окнах счет на децибеллы.

То было время незабвенных игр,
и жизнь сама была бумажный тигр.
В «Восточном» появился новый повар.
В. Алексеев модным стал портным.
Физтех играл в лапту по выходным.
По вечерам мур-мур стонал Коновер.

Он ростом был со стул, но очень горд.
Жил тем, что продавал в журнал кроссворд,
обыгрывал салаку на бильярде,
толкал бобины — четвертной за две,
его подозревали в воровстве —
он вывернул карманы, крикнув: «Шарьте!»

Он остро ставил половой вопрос,
в чем помогал ему туберкулез
(забыл сказать: он умер от чахотки),
он клялся, будто ублажал один
двух питерских тогдашних мессалин,
их в чувство приводя ударом плетки.

Но это для людей. А для души
он тщательно точил карандаши
и над столом прикнопливал портреты
Суворова, покойного отца,
Армстронга, неизвестного лица,
Бен-Гуриона, Чехова, Бабетты.

Ну, вот и все. Как будто бы похож.
Рость... одинокость... плетка... «Мэкки-нож»...
Теперь он мертв. И грустно мне и тошно.
Неужто все, как написал я здесь?
Неужто в этой жизни был он весь?
Ведь ничего исправить невозможно.

1971

ПРОЕЗД СОЛОМЕННОЙ СТОРОЖКИ

Парк наполняется после полудня
жемчужным светом, парижской дымкой.
Как чисто дыханье деревьев голых!
Доносится города шум грамофонный,
предшествуя краткому свисту синицы.
От ритмов и рифм устал переводчик,
усталый от слов со дня рожденья.

*il poeta ch'è pio verso il passato **
под коноплей и вереском пол-сада
как сладко пьется дышится и спится
и с потолка паденье синих звезд

Средь ветхих, на снос идущих дачек
помещичью я увидел усадьбу
под крышей стеклянной и с колоннадой,
с хрипящим псом за глухим забором.
Во двор въезжали машины с гипсом
и увозили, укрыв брезентом,
«Перекуем мечи на орала».

*Voilà que j'ai touché l'automne des idées ***
пугливым став тушу огонь везде я
что там: стена иль только черный воздух
и все здесь есть, и нет здесь ничего

Можно ли верить древним старухам,
писающим посреди тротуара?
Говорят, что хозяин здесь не бывает,

что он ни лепить, ни ваять не умеет,
еврей, выдающий себя за серба.
Зачем о других всегда говорим мы,
о себе же — лишь то, что сказали другие?

Remember me, and I'll forget myself ***
Рим обо мне дудел в фагот Моисеев
из-под земли поет свирель Давида
Зевесов гром и Одисеев трюм

В костях, в миокарде осело время
солью с названьем «жизненный опыт».
Так прожито много, так мало осталось!
А жить — хорошо, ты не находишь?
К кому бы, скажи, я мог обратиться
с пропетой в рыданиях просьбой Дидоны?
Один за другим корабли отплывают.

Of Janson himself is little known
except that he lived in Leipzig-town

1971

* Umberto Saba. *La vetrina*. («Поэт, что набожно относится к
былому».)

** Baudelaire. *L'Ennemi*. («Вот и притронулся я к осени идей».)

*** Purcell. *Dido and Aeneas*. («Помни меня — и я себя забуду».)

* * *



Г. Н.

Мотылек красоты отлетает от Сладостной Дамы,
легкость легкости ей оставляя, улыбку улыбки,
целомудренный вырез, зиянье, воздушные ямы,
фук! — и нет мотылька, и ушли в зазеркалие рыбки.

Расплывается тень красоты, ускользает в былое,
убегает в аллею, хрустит в отдалении гравий,
и уже разглядеть очертанья в размытом покое —
как добыть серебра из глухой черноты фотографий.

Я — оставлен залогом того, что еще возвратится
этот миг исчезанья, когда я когда-нибудь вспомню
все улыбки твои и всю легкость и все твои лица
и тебя — сандрильону, юницу, прелестницу, скромню.

Сквозь павлиний глазок в ледяном наоконном узоре
полустертые, милые мне открываются виды,
и снесенный зефиром за теплое древнее море
мотылек примеряется сесть на колчан Артемиды.

1971

МЕЧЕННЫЕ ДНИ

17 м а р т а

Как легкой финкой проткнутый тулуп
сквозь дырку жадно втягивает зиму,
а вспоротая плоть — тоску и смерть,
так поврежденный сном усталый дух
бессилен перед струйкой сновиденья
с погоней, с поножовщиной — и в сне
такой же свет, как наяву во мне.

20 а п р е л я

Черная ночь, как белая зима,
хотя и не беззвучна, зато нема.
Хотя язык твой гибок, зачем ты говоришь?
Ведь речь — не речь, а шум; а шум — не шум, а тишь.
Тишь для гладь да божья благодать.
Самое время нам помолчать.

29 а п р е л я

Слезает смальта и позолота,
чухонской волей несет с болота,
и воздух выела кислота,
тепло, и тошно, и теснота.
Зачем нам это? Зачем мы живы?
Река и парки зачем красивы?
Иль с искривленья разбитых губ
опять начнется рыданье труб?

14 и ю н я

Двор Господа полон чудес:
немного травы и небес,
ворота: куда — неизвестно,
над чем непонятно — навес,
убого, светло, интересно.

2 и ю л я

Меланхоличный свет, меланхоличный дух,
меланхоличный звук нестройного леса,
дачника быстрый глаз, ссыльного верный слух,
в трех-четырех местах продранная завеса...
Этим родным стволам, этим сосновым дням
я, перед тем, как лечь в тень молодого тиса
на золотистый мох, — сложенный лист подам
с просьбою помянуть Осипа и Бориса.

6 и ю л я

За то, что Богу не молились,
за то, что скучно веселились,
за глупость, за любой пустяк,
за то, как много нам досталось
и даром все — а что осталось? —
теперь мы и живем вот так.

1 а в г у с т а

Игрушку мошек и стрекоз —
пушинку долго ветер нес,
куда — нам не вполне понятно;
но подхватил ее поток:

плотвой толкаемая вбок,
она отправилась обратно.

2 августа

Дунет ветер, раздвинется лес,
приоткроется вырез небес
сквозь сухую зеленую пену,
сердце стукнет и — порх из гнезда:
не меня ль вызывают на сцену
позабытому мне же на смену —
в этот шум и сиянье, туда.

7 августа

Начало берем наобум —
кто знает, что значит начало?
Вот что-то приходит на ум —
другое в отместку пропало.
Казалось бы: лишь захотеть! —
но время само себя пашет.
Так дерево хочет взлететь
и тысячей крылышек машет.

27 октября

Тот сад гранатовый, что некому стеречь,
и нежная ладонь его преосвященства
и пеньем раньше слов услышанная речь
и боль сознания, что вот оно блаженство...
Весну-Младенчество сменила Осень-Русь,
где солнце — верный знак грядущего ненастья.
И если я туда когда-нибудь вернусь,
где счастье? крикну я — и эхо мне: где счастье...

10 д е к а б р я
Знаешь — и молчи,
не говори ни слова,
разве что бормочи
глухо и бестолково.

Учит искусно бес
звездам, театру, танцу,
выдав за свет небес
сполох плотуберанца.

Сладок и ўмен грех,
стерты черты соблазна,
и, просвещая всех,
ты говоришь так красно.

Сами больны врачи,
поят других цикутой.
Знаешь про что — молчи,
добрых людей не путай.

7 м а р т а
Я не помню, с каких точно пор,
жизнь сменяя как праздничный сор,
я заметил свое умирание
по слоям, оседавшим в душе,
и едва разбираю уже,
что позднее случилось, что ранее.

21 м а р т а
Воздух, целую зиму больничный на вкус,
неожиданно пахнет водой и сиренью,
и прислушавшись к дальнему детскому пенью,
я слова разобрал: О сладчайший Иисус!
Из-под век, холодея, выползает слеза,

и из уст ветерок, и уста замерзают.
Не моя ль это жизнь от меня ускользает
ускользающим сном, чуть открою глаза?

1972-73

НА СМЕРТЬ ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА

Не готовьтесь долго к письму,
соберетесь писать — а кому?

Я пока карандаш точил,
стало некому.

Чтоб спасти от шестой зимы,
ангел вывел его из тюрьмы.

А кому детали нужны,
то — к лекарю.

Добивались мать и сестра
гроба белого и креста,
и пристойно себя вели
посторонние.

Милость, Господи, доверши
и куток для его души
хоть на первое время найди
поспокойнее.

Потому что здесь рвы да львы,
жил он гостем у ласки-Москвы,
а потом к свинье под бочок,
и в Мордовию.

Что он видел? — немое кино
про любовь, да и то давно.

Погляди же теперь на него
с любовью.

1973

ПОЭТ И СВЯТОЙ

Стонет, корчится, ревет
вьюга черная, зверея.
Летний сад под огород
отдала шутя Цирцея.
Расплывается пятно,
больно рыбе кувыркаться...
Безнаказанно смеяться
никому здесь не дано.

Побеждает человек
немотою многословье,
убеленный, словно снег,
алой-алой-алой кровью.
Сновидений тонкий слой
от луча и вздоха рвется,
и кругом сиянья вьется
ангелов пчелиный рой.

1973

* * *

Что-то надо не забыть,
когда слово произносишь,
а не то порвется нить —
не получишь чего просишь.
Слово — ложь, но в нем намек,
что, мол, где-то есть и правда,
что сегодняшний паек
хорошо б сберечь до завтра,
что к приходу долгой тьмы
ничего здесь не готово,
что живем в России мы,
где совсем не важно слово.

Наше смиренное житье
полулежа на диване —
очень тонкое шитье
по кой-где протертой ткани.
Скажешь легкое словцо,
так, в беседе со своими,
а за ним встает лицо,
стон, молчанье, призрак, имя.
Что-то, помню, надо мне
не забыть, а что — не помню.
Все размыто, как во сне.
И не снится ничего мне.

1973

НА ОТЪЕЗД Л. П.

Не гляди на меня, как в открытый гроб,
мне под губы не суй свой холодный лоб,
на дорогу поспи, а я в переполненный ящик
упакую сам эту стопку лет,
а откроешь там — ничего в нем нет,
потому посылаю вдогон тебе их образчик.

Посылаю вслед запоздалый стон,
дескать, с глаз долой и из сердца вон,
только есть надрыв в истончившейся стенке сердца...
Петербург на обоях, под ними слой
Ленинградской правды, год сорок шестой,
отдеру за сентябрь — и вот наконец та дверца.

А за нею хлам, хоть в утиль нести,
и крошечный срам быстрой юности,
и чернеет кровавый след от казенной пули,
и повестка в суд, и из зоны письмо,
и шампанского герб, и оно само,
электрические декабри и без сна июля.

Не гляди на меня, как в открытый гроб,
я всего-то чуть-чуть серебра соскреб,
кто не знал негатива, ущерба сейчас не увидит.
Поезжай туда, поклонись звезде,
помолись на крест, поживи везде,
поживи других двадцать пять или сколько там выйдет.

А в квартире пустой только водку пить,
тихо слезы лить да по-новой жить,
да о том, о сем беседовать с участковым.
Моль на солнце сверкнет, пыль внезапно вспорхнет,
чей-то вздох пролетит, чья-то тень мелькнет,
чей-то голос помянет хозяина ласковым словом.

1973

* * *

Обжора-разум, пьяница душа!
руководясь не крепостью, а дозой,
вас не было в минуту дележа
дрожжей между поэзией и прозой.

Как хочет пусть химичит винокур,
чур только не заглядывать в наперстки...
Ум: куд-куда? — Душа в ответ: мур-мур,
по шерри, по шербету и по шерстке.

Пей, умница-душа, клюй, душка-ум!
особым, что ли, мазаны вы миром,
чтобы во время грязных войн и чум
изысканным не наслаждаться пиром?

Почем вам знать, откуда хлеб растет,
и есть ли у коровки дикой вымя,
и не хмельны ли грамота и счет,
домашний адрес, год рожденья, имя?

1973

* * *

Июль юлил миражем и ужом,
загустевая в августе, который
серебряным катился сентябрем
в октябрь, когтящий пригоршней и шпорой.
Не миг нырял за мигом и не день,
вы знаете, меж пальцев тек куда-то —
обламывался времени кремень
по месяцам чешуйчатого шпата.
Так прожил я, по крайней мере, пять
счастливых лет...

1975

* * *

Увы, дряхлеет Рим,
как пишет имярек,
истаевает дым
и истекает снег
и иссыхает грязь
и истлевают пыль
и океан гноясь
смердит на сотни миль.
Так издыхает миг,
язвим покоем гвезд,
и только воет, дик,
язык-экклезиаст.

1976

ДРЯХЛЕЮЩИЙ ПЕЙЗАЖ

В архитектуре этой и флоре
что-то душа дорогое вкушает —
я приникаю к щели в заборе:
именье в упадке, усадьба ветшает.

Растрескались статуи, гипс балюстрады
исщерблен, засыпаны хвоей ступени,
сравнились с землей одичалые гряды,
но главное — в окнах овальных ни тени.

А помню: хозяйка, и дочь, и подруга,
и та — как «четыре времени года» —
смеялись в саду, стояли средь луга,
с улыбкой встречали гостя у входа.

А впрочем, я был здесь совсем мимолетно,
запутался в гуде шмелей над поляной,
гулял по аллею, шутил беззаботно,
кого-то звал Ниной, кого-то Татьяной...

...Те встречи под снегом тысячедневным,
как встреча Уберти с Буондельмонти.
Но что-то осталось в пейзаже душевном,
вдали, еле видимое, на горизонте.

И эти под толем гниющие жерди,
и речку за лесом, и белую нишу,
быть может, еще я увижу по смерти,
на миг, в отдаленье, быть может увижу.

В НЕНАСТНЫЙ ДЕНЬ

В ненастный день и письма от друзей
несчастные, и мысли все — о смерти,
но все без остроты, как будто клей
края страниц оставил на конверте.

В ненастный день, когда со дна души
всплывает муть и ком стоит в гортани,
становятся слова нехороши —
и дремлешь, не укрытый, на диване.

И так как те — за морем, так как день
ненастен, так как весь он спячке отдан, —
кого ни вспомнишь — тень, и жив — а тень,
пейзаж Аида — современный Лондон.

1976

СТАРАЯ ПЛАСТИНКА

Отчего умирать нам обидно,
это все столь ничтожного ранга,
что о том и признаться-то стыдно,
скажем, танго, испанское танго,

но не сам, разумеется, танец,
не скрещенные взоры и руки,
и не па, от которых испанец
становился убийцей — а звуки,

да и звуки-то, как исполняли
их в каком-нибудь клубе в Подольске:
гром и ритм и немного печали
и чтоб пели как будто по-польски,

чтоб потом донеслось с того света:
ах, как жаль, что вы больше не юны,
столько песен еще не пропето,
и в гитаре дрожат еще струны.

1976

ПОДРАЖАНИЕ ДЕРЖАВИНУ

Бывают сны: средь залы стол накрыт —
сочащиеся золотом филеи,
рассеченные рыбы-ротозеи,
кудрявых трав пахучие аллеи,
зеленых вин холодные музеи,
и пирогов румяных пропилеи —
чем дольше смотришь, тем сильнее несут.

И тянешься за чем-нибудь — но ах,
еще не тронув, чувствуешь, что прах,
прах, пепел, сохранивший чудом форму,
ампир, барокко, выдержанный стиль,
наошупь же лишь бархатная пыль,
а птица-сердце просит пить и корму.

И вот хватаешь наконец — в руке
десяток остро колющих крупниц
и ломит кисть — неловко повернулся;
а через миг уже и о песке
забыто — яркий вспыхивает блиц,
и это значит: всё, конец, проснулся.

Соскальзывает в горло бездны сон.
Что снился — помнишь. Но о чем был он?

Не так ли жизнь? Обильных дней блюда,
и каждое не день, а объяденье.
Но, как волна, слизнет их пробужденье —
на скатерти крахмальной ни следа.

* * *

Ходасевичу

Дворницких метл мертв менуэт,
нечего им нынче мести,
больше не сор фанты конфет,
бисер дождя, вихрь конфетти.

Дворницких метл прутья цветут:
влажен и вял — видно, что рос, —
стерт об асфальт, пружится прут,
ржавеет сталь грабель и кос.

В грязь ли замят почвы покров?
Взбит ли колтун в мякоти трав?
Шлю эту свиль гибнущих слов
тем, кто не здесь, — Вам, Владислав

Фелицианович! Цо то за звенк?
Щиплет язык, горло саднит —
сленгом изъел новый эвенк
крепкую медь, высь пирамид.

Тем, кто теперь больше не здесь,
как передать, ким языком
(этот-то днесь был, да уж весь!)
то, чем живу, помню о чем.

Вьюнош цветущ, мстя мне, сметет
с мест мои тс, е же — как ять,
вялый акцент. Разве вперед
крик полетит? Нет, только вспять!

Там буду я понят хотя б!
Там лучше всех знаете Вы,
как это вдруг в кучу силлаб
сбился хорей метел Москвы.

1978

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Боги-воги каштанов под окнами кафе-шантанов,
стреляный пыж, вечный славянский Париж.
В ворохе слов, сохраняющих форму, увянув,
я продолжаю шуршать, как дождь или мышь.

Жизнь это дар содержимое матери тратить,
живу — то есть вижу и жду и, ходя, шелещу.
Вот и выходит, что смерть это смятая скатерть,*
и относится к паперти память, как страсть ко свишу.**

Прорва речей, и созвучий, как в небе созвездий,
слово-втяжка и слово-пузырь, потерявшие пол.
В пахкую правду, в прель и труху последних известий
лечь! — если б вдруг не кололось слово-глагол.

Вот, я умел продираться сквозь плотные толпы
их — и словарь, якобы зная зачем,
взвесью вокабул ссыпанный в полые колбы,
нет-нет и пробрезжит крупинками формул и схем.

Соль несоленая, мутный кристаллик, искры крахмала —
грубой органикой жадно дышащие рты, —
кому под картинкою мира подпись мешала,
не просветленья темнот тот выпрашивал, но полноты.

Я называл, узнавая названья и так и не зная,
какие мои, какие чужие: д-апостроф-
а — было не д а , а взрыхленный у края

ад волчьей ямы, усталый падалью слов.

Я же хотел полноты односложной, попроще:
дай или яд или да или нет или вон!
Братъ бы пример с говора лиственной роши:
душно — так всхлипы, больно — так скрип или стон.

Бы — это блажь! Бы, безумный, бы-бы, безъязыкий! —
быльем порхал меж губами бесстыднейший слог.
Мы не деревья: глагол — это нежный и дикий
крик: кто-то крикнул и, может, до смерти молчок.

Но сохраняется воспоминанье — о миге, о свете,
о сплпlosti листьев, когда этот крик долетел,
и ничего уже больше не надо: ни гласа столетий,
ни нового слова, ни чтобы мир онемел.

Теперь подходите поближе — кто где, кто в Париже,
кто у постели, склонитесь пониже и я прошепчу:
знак невозможного, невыразимого, иже
еси уготовал, с каждой минутой все ближе.
Вот я молчу. Дай еще раз сказать: я молчу.

1978

* ятая скат = 0

** паперть . память = страсть : свищ

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

П о й м а

Всем, что издревле поимела
обильная дарами пойма,
водой солодкой, хлебом белым —
я был накормлен и напоен.
Она дала мне сон и отдых
всех огородов паутиной,
осокою, сосущей воду, —
и только после разбудила
каким-то выкриком случайным,
пробившимся сквозь сонный стрекот,
и механическим звучаньем
лягушек, огласившим реку.
Стреноженные кони косо
водили плавными хребтами,
прозрачнокрылые стрекозы,
прицелясь в воздух, трепетали,
а воздух вовсе был не воздух,
а только свет и только ветер
и только вдох и вздох и роздых
и запах яблок в жарком лете,
плывущий из пределов сада...
Мычали издали коровы...

Пастух, паси чужое стадо,
не возводи себе хоромы!

Пастух! возьми свой хриплый рог,
чужому страннику напомни,
что запах трав
и камень троп
и птицы острый поворот —
звуются благодатной поймой.

1957

Д о ж д и

...Как уехали, так и ждут.
Это всем, и меня не минет.
Вниз по стеклам дожди текут,
и стекло на карниз оплывет.
На карниз, на резьбу крыльца,
обнажатся в саду ступени,
заявляя, что нет лица
ни на ком, и одно терпенье —
у садящихся этих двух
на промокнувшую подводу...

Над Россией дожди идут
не пойму по какому году,
неизвестный какой-то набор,
все дожди идут, как солдаты
на далекий, на тихий, на бой,
одинаковые — брат в брата,
одинаковый их погон,
одинаковые шинели,
возле самых моих окон
одинаковое запели:
горько-горько да и смешно,
можно, можно, и выше, и выше,
эта песня — незнамо что,
и поется себя не слыша,
это песня как дождь идет,
а за ним, за прозрачной гранью,
подоконник и переплет,

ослепляемые геранью,
это песня как на стене
в алой перевязи гитара,
это им, по своей вине,
причитающаяся кара.

И дожди закрывают глаза,
натываются на заборы,
на железные поезда,
на больничные коридоры,
на березы — и те, как дожди,
и ветра, как дожди,
и снега,
и хлеба стоят, как дожди,
и дороги, и дни, и телеги.
Так тоньшаст рябина — и так
за две ночи шелкают кони,
за две ночи в пустых садах
заголяются комья и корни.

Так бывает. Так люди живут
с понедельника по субботу,
надевая плащи в непогоду.

Так в России дожди идут.

1958

Павловск осенью

1

В окрестностях все та же плавность,
и запах трав стоит, как дым.
Все тот же предо мною Павловск —
совсем один. И я — один.
Одни — таблички вдоль газона,
предупреждающие штраф.
Одна — глядит в меня ворона,
коленки к горлу подобрал.
И клен один, как шар воздушный,
пустой дрожащий желтый шар.
И всюду знак единокорный:
один ты! Господи, как жаль!

2

Мы с ней гуляем по орешнику,
аукаемся и плутаем.
Ей кажется, что все по-прежнему,
что путь случаен наш и таен.

Я вскрикиваю и молчу.
В ответ паденье листьев слабых.
В ответ на отклик я начну
лететь, куда поманит запах

травы. Летит над нами «Туполев»,
прозрачнись и озверенев.
С ее ноги слетает туфелек,
кокетничая перед ней.

А тучи над моим лицом
идут, как камни, — но без стука.
И ходят листья колесом
вкруг туфля — но какая скука,
какая суть в ее словах:
трагедий нет — остались драмы?
Между шагов редуют травы.
Какая тишь в ее слезах!

1958

С т и х и о м о р е

Расстояниями невредим,
дует ветер в лицо скандинавский,
вот я снова один на один
с хором властвующих династий.
Герб и ветер. Гвардейский эскорт.
И припав к камышовой короне,
все дворцовое море цветет,
все букет его беломахровой.
И из царских из бархатных лож
надрывается горлышко: браво! —
так ты бес-человечно цветешь,
о стозевное море-играло!

И над этой железной водой,
над отряхивающейся гвоздикой,
чайка свой сохраняет покой,
свой полет непосильный и дикий.
Наших душ стародавняя связь,
мина тридцать седьмого калибра,
по сияльным стволам раскатясь,
в самый воздух впивалась и гибла.
Раскати-раскатился мой век.
Я скажу как теперь не клянутся:
будь ты прожит, будь проклят, четверг,
не умеющий оглянуться.
Вот и все. Тишь — на тишь. Путь — на путь.
Остается шепнуть этим древним:
круглым зеркальцем, ветер, мне будь,
причеши меня, дождь, частым гребнем!

П о л ь ш а с д е т с т в а

Будто я в прошлогодних местах
и хочу в них остаться подольше.
О грибная держава в лесах,
ты в другом полушарии, Польша.
Утопает в бисквитных листах
до шнурков мой туристский ботинок.
Отыскать эту пустошь — пустяк.
Жить так просто в чужих палестинах.

Геометр полушарий грибов,
пан-поляк, раскрывающий зонтик,
записной кавалер городов
(исчезающих на горизонте
городов), он научит меня
жизнь прожить на единственный золотый.

И вспухает грибом спорынья
над всепальным десантным болотом.
И гнетет полукружье ремня
влево-вправо-полу-оборотом.
И растет полушарье вранья,
дорогого вельможным острогам.

1961

Памяти убитых в хорошее время

Пока нас не было, на землю выпал снег,
в окраину небес преобразив окрестность,
так что вели следы проехавших телег
до ближнего холма, а дальше в неизвестность.
Лоск почвы в колее, возникшей от колес,
да мокреть черных лип в обыденной одежде
одни внушали мысль — в предвосхищение слез —
что всё вокруг сейчас — точь-в-точь как было прежде.

Бывает, что вблизи переночует смерть.
О том, кто умер в ночь, ты узнаешь с рассветом
и видишь вдруг ручей, над ним сломалась жердь,
тот — перейти успел, ты — здесь по всем приметам.
И в мыслях о ручье ты бродишь целый день:
он холоден, глубок, он вечно занят бегом.
Меж тем, умерший — мертв. Исчез. И даже тень,
как черный ком земли, сейчас покроет снегом.

Итак, пришел конец всему, что знали мы.
На землю выпал снег, и в этом тонком слое —
уже была зима; и белизна зимы
уничтожала все, что нам дало бывшее.
Но сплавить первый снег ручью хватало сил,
и — тяжести подвод, и — трепетанью сада.
И чуя близость слез, я вдруг глаза закрыл:
к душе приникла тьма, коснулась век прохлада.

В дневных окрестностях себя хранит любовь.
Деревья, почва, холм, село, ручей, дорога
в подробностях, как сон, приходят вновь и вновь,
и чем они светлей, тем в них сильнее тревога.
И самый ясный сон тебе смотреть невмочь,
все образы его — из чьей-то близкой смерти;
как безнадежный взгляд, их окунаешь в ночь,
коль в ней жива любовь, и нет земли и тверди.

В тот миг, как я глаза закрыл на белый снег,
увидел я ручей, но он пропал во мраке;
увидел дом, где был последний наш ночлег,
среди места, где одни холмы и буераки.
Увидел колеи исчезнувшую нить.
И наконец — сам снег. Снег тьмою ступевался.
И все. А я стоял, боясь глаза открыть,
чтоб не узнать про то, что я один остался.

1963

Б е р е з о в а я р о щ а

Белый сумрак осенних небес,
словно в тягость земному покою,
накрывает безжизненный лес
с ожидающей ветра листвою,
чтоб осыпаться. Ветра же нет.
Белый воздух на всем расстоянии
превращает полуденный свет
в тишину; поглощает сиянье.

Только в роще березовой, там,
где для листьев и воздух был грузом,
взгляд, скользящий по голым стволам,
слепнет вдруг, пораженный союзом
этих белых стволов и небес,
пустоты и церковного света...

Но душа ни одним из чудес
остается ничуть не задета:
временами пустея и вновь
наполняясь, она пребывает
то в незнание, ушла ли любовь,
то в незнание, зима ль наступает.

1963

* * *

Словно ветер дунул наконец-то,
и с небес посыпалась листва,
и лишась последнего соседства,
зачернели прутья естества.

И на этот клен не то осину
прямо выводила колея.
Как через плетеную корзину
я взглянул — и все увидел я.

То, что в книге до сих пор хранилось,
то, что обещалось, то, что снилось,
то, чем только жил я, — и вдали
холмик свежевырытой земли.

1964

С т и х и о в е ч н о й ю н о с т и

И. Б.

Отставая от суток на треть,
уступив эту треть сновиденью,
привыкаю к сознанию, что впредь
я сюда проберусь еще тенью,
не умеющей делать вреда,
так как призрак, не знающий боли,
безопасен и сам — и тогда
ты моей позавидуешь доле.

Отставая пока что на треть —
и чем дальше, тем больше — от жизни,
должно будет теперь умереть
где-то здесь, но уже не в отчизне;
показалось, наверное, нам,
что тоску мы вдыхаем охотно,
словно воздух оттуда, а там —
ничего, только спишь беззаботно.

На закат, на закат, по стерне
спотыкается шаг постояльца,
чтоб оплавившись в жидком огне,
жизнь повисла на кончике пальца;
сокращая на треть через лес
расстоянье без помощи зонда,
так как здесь много больше небес,
чем везде, — и чуть-чуть горизонта.

В окоеме терновый венец —
это изгородь с мертвой хребтиной;
распустившийся лист, как птенец,
над замерзшей порхает осиною;
и твой голос относит как дым
от скворешника правды житейской,
сбитый воем глухонемым
и трехсложником речи библейской.

1965

Норинская

ЛЕНИНГРАДСКИЙ СИНДРОМ

I

Электрический шепот волос, альвеольные скрипы
возле замка, над гиблым прудом, коченеющей липы,
шорох туч — это пенье сиренное для ленинградца,
чтоб ему захотелось вернуться, а то и остаться.

Словно холод блокадный згу города выдул и выжег,
не осталось почти никого, ни кудрявых, ни рыжих,
и так быстро — еще и на треть карандаш не списался,
мне который на память на проводах первых достался.

Что за место зачатое: что ни случись — уже было,
волны в станцу сбивает, младенчески чмокнув, грузило,
сумрак улицы-строчки, шербатость булыжника-слова,
рандеву на канавке Опять возле мостика Снова.

И ведь тянет: уехавших — точно (умерших — кто знает).

Иль на новых местах нам студенной воды не хватает?

И ведь знали, что будет, ведь знали — так что ж я,

так что ж вы?

Хоть бы раз еще наши Нева шекотнула подошвы!

II

Как это я, с берегов державныя Невы,
я, питерщика сын, сам ленинградец,

сюда, где сводник с целовальницей на—вы,
попал — хоть ты, мурза, лиса, ответсвуй, братец?

Как это я, фланер, здесь пассажиром стал
трамвая — весь маршрут скребушей сердце кошки:
Бутырская тюрьма, Савеловский вокзал,
проезд Соломенной Сторожки?

Как это я, пьеро стенных газет
с лицом, припудренным на Охте штукатуркой,
здесь пылесосю импортный вельвет
галантерейных рифм, подбитых чернобуркой?

Сюда, где стих любой на мо бессмертья быстр,
где аэромудрец любой другому равен,
оттуда, где поэт — острожник, мэтр, министр,
как занесло меня — мурлыкни, кот Державин?

III

«Дням и неделям потерян счет,
не вернется любовь, ни ушедший год,
под мостом Мирабо
Сена течет.»

Так писал поэт, тот, кто смерть и сметь
рифмовать хотел, но как раз тут смерть,
только см сказал —
а куда смотреть?

На пустой ли дом, на прочтенный ли том,
на зимы ль нежный пыл, ставший майским льдом,
что проносит Нева
под Литейным мостом?

Мимо красных роств, мимо серых химер.
И ответить смешком на рычанье эр
 не посмел ни Блок,
 ни Аполлинер.

Наших лиц отраженья и наши любви
уносит течение а ты живи

Ночь наступает, года летят,
ни мгновенья, ни страсть не приходят назад,
 и река, что под,
 и поэт, кто над.

1978

РОМАНС

Так проходит вся жизнь: в узнавании черт — смутных, зыблемых далью, на пленку не снятых, например: — Это что ж? — Новогодний десерт. — Да когда же? — Да где-нибудь в пятидесятых...

В узнавье — нет-нет, в возвращении к ним, запропавшим вместе с цигейковой шубкой под китайщиной лет, как отыгранный грим вдруг стираемых зреньем любовным, как губкой.

На одну хоть секунду в полгода — и вдруг из-под складок у губ и блестящего меха проявляется юный восторг и испуг, ямки щек и морщинки мгновенного смеха.

И тогда вспоминаешь, что ты и тогда, в Новый Год, под презрительно поднятой бровью напряженно угадывал: нет или да? — набегающей жизни учимый любовью.

1979

* * *

О. Ц.

Пьяницу тянет в кабак, к деткам — отца,
— чисто кадрили. Кто ж это путает танец,
рупь с молочишка чаруя в стаканчик винца,
Ванечку в отцеубийцу, родителей в пьяниц?

Как это так, что веселая горькая жизнь,
песня цыганская, сумрак семейного грота,
вдруг предстает зачарованной в желтую смерть,
кучку золы и глоток ледящий азота?

О, если космос — Эвклид, а хаос — колдовство,
делай, что хочешь, несчастья случиться не может:
пил, да не с тем, да не то, да всего ничего,
жил, да не там, да не так, да и день этот прожит.

1980

* * *

М. Е.

Отслаивается листва
по сгибам воздуха, не веток,
чтоб углерод на skate рва
крепчал для новых пятилеток.

И так как в лавках нет муки,
то за щербатым постаментом
не Китеж-град, не торс Оки,
но купол на ветру цементном.

И, о как хочется глотнуть
по вечерам полячке томной
годами сжеженную ртуть
из кислорода над Коломной.

1980

ЗИМА

I

Вернувшись в Питер из Москвы кабацкой,
под бастионы, на советский пляж
я вышел, чтоб увидеть с Петроградской
великолепный город, милый наш:
ларцом Дворец был, церковкой Исакий,
заматывались в шелк дома,
и знал, в анабиоз впадая, всякий:
идет зима.

II

Брюхаты сизым снегом были тучи.
Нева, им в масть, прикинулась больной.
Норд-ост лобзал скулу и щеку жгуче,
играл с густевшей на глазах волной
и не давал от листьев тлевших дыму
взлететь в родительский эфир.
На Лахту, грузом дров тараня зиму,
бежал буксир.

III

Так шла она, хотя еще тепло
сулили европейские прогнозы,
но в переплав уж брали на стекло

не только влагу, а и пыль морозы
среди скал, где водопад кипящий спит,
о здесь прозябшем грезя скальде.
И тишина была — не звон копыт
в *largo* Вивальди.

IV

Так шла она. Все знали зимний скрип
учебного фрегата, кто тут вырос,
пусть лип не холод к слизистой, но грипп,
чей ускользнул от сыворотки вирус;
и, сохлой крови в запахе примес
почуяв, ждал за морем ветра
астматик, глядя к нам сквозь семь завес
дождя в Сан-Пьетро.

V

Но хватит эту петь, когда другая
идет равнять пространства и срока,
напрасно не шутя и не пугая,
без знамений, без туч, исподтишка.
Ни города, ни часа, ни погоды
нам не дано предугадать,
когда отхватит бритвой наши годы
внезапный тать.

VI

Итак, она зовется не Зима,
та даль, та мгла, что я заметил с пляжа,
в мехах, с румянцем, в санках, — но Сама
мелькнула, как кривой оскал пейзажа,
и тотчас землю скрыл и небо снег:
где милый Ленинград? где Троя? —
метался я, последний человек,
мыча и воя.

1981

* * *

Какие печальные лица.

Иванов

Китайским фонариком номер,
скворешником. Где ж управдом?
Где снег прошлогодний: да помер
не позже как в тридцать восьмом.

Гнездовье покинули птицы,
жильцы, квартиранты, отцы,
жестоких романсов певицы,
художественные чтецы.

Последний колбасник и заяц
попал под трамвайный вагон,
повесился прачка-китаец,
который басмач и шпион.

Былое — забавная пьеса,
дешевый, но милый обман!
Клейнмихель, прораб с Днепрогэса,
полол и пахал Казахстан,

а Ротшильд, прораб с Беломора,
пас чернощетинных свиней.
А моды-то, клеши, умора.
И что ни кино — Колизей.

Какое веселое ретро,
особенно съемка рапид:
эпоха бежит против ветра,
кокетничает и хрипит.

1983

* * *

Не придаю иного смысла,
чем предназначенный Творцом,
звезде, которая повисла
над стынущим моим лицом.

Еще на этой части света
тепло и свет, но иногда
задует норд в разгаре лета
и в полдень задрожит звезда.

Но слабый свет и лишний холод
всегда готов принять как дар:
избранничества — если молод,
и милосердья — если стар.

1982

* * *

Соловей запоет,
уцелевшая вздрогнет обитель:
шелкопёр, рифмоплёт,
а как чисто ведет, соблазнитель, —

об иных временах
и про схожее с вечностью время —
усмехнется монах:
свободиши реши о земле мя,

чтобы мне не гадать
о чужом и пронзительном даре
и зачем благодать
подается в несмысленной твари:

и стволу, и листу,
и пичужке, и дикому звуку
даровал красоту,
в ней сокрыв нашу с нею разлуку:

показал невзначай,
я за ней потянулся несмело
и осекся. Прощай,
замирай, соловей, филомела,

свист твой тягостен нам,
он пустоты и паузы множит.
Ибо всё, кроме роши, всё — там,
да и роща, быть может.

1982

В октябре-ноябре, когда на́ землю
первый ложится снег,
надо прощаться не на зиму,
а как будто навек

с берегом под подошвой,
с почвой и с мостовой,
с мерзлой уже и прошлой,
утром еще живой,

с тем, чтоб глазеть, разглядывать —
скрылась, и день потух:
душу учить и радовать
начал исподволь слух —

то, что лежало ворохом
дробности предо мной,
стало дыханьем, шорохом,
главное же, тишиной,

а из нее уветливо,
смутно сперва, поврозь
и, наконец, отчетливо —
то, как это звалось.

Время такое полное
словом — что сам я нем.
Тихое и безмолвное
житие поживем.

* * *

Губы дуют в наледь,
на стекле глазок:
дай глаза попялить
мне еще разок

на слоисто-дробный
городской мираж,
на простой, догробный
мир уютный наш,

где друг друга водят
ото дня ко дню,
где охотой входят
с детства в западню,

где панели хрупки,
знобок сумрак ниш,
где в холодной шубке
ты сейчас стоишь,

где, спасибо призмам
мерзлого стекла,
жизнь моя трюизмом
чудным протекла.

1983

* * *

Рассветная песенка птичья,
знакомая с детства: чирик.
Апрель как апрель, без отличья,
а в зеркало глянешь: старик.

Да сумраков рой зазеркальных
еще амальгаму поскреб:
сияние глаз беспечальных
и юные губы и лоб.

Ан нет, на пергаменте кожи
расплывшийся почерк отца.
Но с давними, правда же, схожи
движенья и лепка лица?

И та же почти что одежда,
какую когда-то надел.
И щебет — и в сердце надежда
на будущий, лучший удел.

1984

* * *

Порожденье ночного ума —
образ лета в роскошном убранстве,
где аморфная царствует тьма
в безобразном, бессонном пространстве.

Позвоночник природы ослаб,
но отчаянье душу не гложет,
ибо мрак — это жизни этап,
а не суток, и должен быть прожит.

Ничего в нем не бойся, не видь
ни чащоб, ни цветов, ни колодца.
В этот час вспоминать — и любить
тех, припомнишь кого, остается.

1985

* * *

Холодный комар, камикадзе Природы,
беззвездную яму сверлит и бодает.
Вписавшись в вираж над ареной свободы,
ночной носорог, протрубив, нападает.

Он бич африканца и скорбь евразийца,
оглох от проклятий, сдурел от контузий,
ничтожество, рыцарь, палач, кровопийца,
чтоб жить только миг, напрямик, без иллюзий.

Прислушайся: пенье то жалко, то грозно,
как будто весь воздух им тонко проложен,
он символ пространства, и если серьезно,
он явь, но и сон без него невозможен.

...Страданья, мой друг, перед близкой кончиной
ты принял без стонов «за что?» и «доколе?»
Как нет тишины без струны комариной,
нет радости больше без примеси боли.

1986

ТИШКОВО

С. К.

В лодке проехаться друг пригласил.
Гуси летели над озером стылым
клином, в Египет, но словно без сил.
День был безжизненным, но не унылым.

Лес обнажал свой прозрачный скелет,
свето-воздушную линзу прочистив,
вычистив добела воздух и свет,
воздух и свет из мерцающих листьев.

«Этой вселенной и века не дашь», —
друг мой сказал. Я заметил: «Как видишь,
леса портрет это хрупкий пейзаж».
Мы помянули утопленный Китеж.

Где-то был город, болезнь и печаль,
здесь — красота и биение зыби.
Город был жалкий, его было жаль —
не было боли в озерном изгибе.

Мне захотелось в мой душный закут,
к другу на службу в глухом переулке,
к мыслям, что чист и велик неуют,
к грезам о свето-воздушной прогулке.

1986

* * *

Тронул розу в кувшине за ствол,
думал, будет поникшей приятно, —
испестрили расстрелянный пол
мертвым пеплом кровавые пятна,
обнажила конвойный оскал
бронзой шелок буддийская мебель,
и ощеренной челюстью ждал,
в чью бы мякоть вонзить себя стебель.

1986

С ПЕТРОГРАДСКОЙ

Мороз, сковавший лед, сковал и зданья,
до сердца сполз озноб, сосавший гланды.
Чей луч иглу желтит, то держит в тайне,
подняв на город крест, чугунный ангел.

Тут всё, что знаю я — душой и вчуже,
тут инеев столетних ворс и жальца,
судьба безвольно к финской сизой стуже
прилипла, как к скобе железной пальцы.

Во-первых, юный дух зимовищ этих,
завитый в рыбий мех пальто потертых;
отчизна, во-вторых, и счастье, в-третьих,
и тени, тени милые, в-четвертых.

Их сгустки и размывы зренье тешат,
цепляясь за быки, шарниры, скобы,
о сколько их, под мост крутой слетевших
из зоны, из-за моря, из-за гроба.

Дыши в ладонь, другую грей в кармане:
у полыньи две утки в дымной пасти
видны не так, как в призрачном тумане
Отечество, Адмиралтейство, Счастье.

1986

* * *

Г. Д.

Виска измученным крылом
коснется бабочка ночная,
графитный невесомый лом
чешуй узорчатых роняя.

Но тьма засасывает тень,
лишь ветерок трещит непрочный,
и словно чтоб унять мигрень
упрутся пальцы в край височный.

Твою, художник, на лету,
как надоедливую ношу,
невидимую красоту
я в темень от себя отброшу

и успокоюсь, и тотчас,
как сам отброшенный, расскаюсь:
иль хрупкость не одна у нас?
не вздоха ль я виском касаюсь?

Иль разный этот страх, и сны,
и ночь без звезд? И если вкратце —
не красотой ли мы видны,
о, и сейчас? Братишки, братцы.

1987

ПАМЯТИ ПОЭТА

Зимняя ночная улица,
белая ночная мгла
на меня сегодня дуется,
а ведь как в друзья звала.

Это в пору ту беспечную,
в баснословные века,
когда птицу и не певчую
стала важивать ЧК.

По горбатой по Гороховой,
по Шпалерной по стреле
пленный строй гуськом погрохивал
в студенистой зимней мгле.

А последний — шаркал, хохлился,
губы складывал свистеть,
а в конце и теми проклялся,
на кого упала сеть.

Шел ва-банк и на попятную,
лаз заделал на чердак,
с итальянской голубятнею
не хотел порвать никак.

Брал верха, головку вскидывал,
чаял эдак выгнать стих —
да чугунный ворон выдавил
душу и не из таких.

Дали меду белым вяхирям,
а его свирельный альт
растворили черным лагерем,
закатали под асфальт.

1988

* * *

Ты начертил пейзаж лесов и вод,
Ты набросал портрет цветка и зверя,
словами свитка, сладкого, как мед,
сердца питая, боль и счастье мера.

А я — кто я меж сумраком и тьмой?
Я льюсь, как кровь, шумлю, как вдох и выдох...
Зрачок, гортань и жилы мне промой,
пространство мыслям дай и чувствам выход,

чтоб мне покрыть десятком нищих слов
мой день, поняв, что день — Твоё в нем пламя,
поняв, где я, где мир Твой, и каков
Твой я — в сравненье с речкой и цветами.

1987

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Литературные судьбы, складываясь по-разному, начинаются, как правило, одинаково: со стремления к само-совершенствованию, со стремления, если угодно, к личной святости, как ее понимает начинающий автор.

В поэзии тенденция эта проступает с большей отчетливостью, чем в прозе, хотя бы уж потому, что процесс развития личности легче прослеживается от стихотворения к стихотворению, чем от романа к роману. Повторение самого себя, повторение сказанного — для стихотворца очевидней, чем для прозаика, и заставляет его всякий раз пытаться взять, что называется, нотой выше.

Каждое следующее стихотворение, каждая его строчка — оборачивается ступенькой, уводящей поэта от того, чем он был вчера; одним словом, сочиняющий стихотворение постоянно карабкается вниз по лестнице, ведущей вверх. Во всяком случае, это — одна из причин, заставляющая взяться за перо.

Рано или поздно, однако, взявшийся за перо замечает (и чаще позже, чем раньше) — что оно, перо, обладает большей живостью и подвижностью, нежели его внутреннее «я», нежели его душа. Хуже того: ему начинает казаться, что душа и перо все решительнее устремляются в разные стороны. Этому ощущению, часто достигающему болезненной интенсивности, искусство обязано своей репутацией дьявольского искушения и грудами пепла, оставшегося от сожженных рукописей, второй том «Мертвых душ» включая. Требуется незаурядная трезвость сознания и немалое усилие воли, чтоб удержать эти быстро расходящиеся концы ножниц вместе, чтобы придать стихотворению подобие если не равнодействующей, то хотя бы вектора этих двух, тянущих в разные стороны сил — дабы избежать превращения своего сознания в подобие грозящего разнести в щепы черепную коробку маятника.

Как и всякий маятник, этот тоже отмечает движение времени, остановить которое невозможно. После «тик»

неизбежно следует «так», и единственная власть, которую автор обладает над отпущенным ему временем, — это попытаться отделить в прижизненном издании одно от другого, «тик» от «так».

Примерно это и предпринял в данном собрании своих стихов Анатолий Найман — поэт, в чьем творчестве двух последних десятилетий нота христианского смирения, нота сдержанности и искренней веры звучит со все возрастающей чистотой и частотой, временами заглушая напряженный лиризм и полифонию его ранних стихотворений. Настоящий сборник (не могу не поддаться соблазну игры слов) действительно отделяет все, что может быть обозначено утверждением т а к — от краткости и нервозности, различаемых слухом во включающем бесконтрольные сокращения мышцы слове т и к.

Состав поэтического сборника всегда есть проявление воли автора, отличающейся от собственно творчества своим рациональным сознательным элементом. Выбор стихотворений есть выбор позиции по отношению к миру, которую автор, по его представлениям, занимает. Иными словами, выбор этот — как бы взгляд автора со стороны на себя. В стихотворении же, т. е. собственно, в творчестве — свидетельством отношения автора к миру является интонация, образная система, зачастую просто та или иная рифма, выбор которой подсказывается поэту его эстетикой, его языковым чутьем, а отнюдь не философской системой или исповедуемой религиозной доктриной.

В данном случае я вовсе не беру на себя дерзость оспаривать выбор автора, ибо это было бы равносильно полемике о формах существования — полемике, как правило, заводящей чересчур далеко, т. е. попросту в никуда.

Скажу только, что для меня, как для младшего современника и читателя наймановских стихов на протяжении вот уже трех десятков лет, данное собрание представляется некоторым сужением подлинного диапазона данного стихотворца. Упомянутый выше т и к, оставшийся, в основном, за пределами книги, является предметом моей сильной привязанности не столько по соображениям ностальгическим, сколько потому, что в целом поэзия

Наймана включает в себя данный выбор: она шире представленного теперь читателю. В конечном счете желание поставить искусство на службу религии есть тоже искушение, хотя и ангельское.

Стилистическое развитие поэта, равно как и развитие его личности, далеко не всегда совпадают с фактической биографией — прежде всего потому, что первое обычно насыщенной, чем последняя. По этой же причине не совпадают они и с историей общества, в котором существует поэт. В случае Наймана не совпадают они и с географией, ибо Анатолий Найман, инженер-технолог по образованию и переводчик по профессии (верней — по необходимости), живущий последние двадцать лет в Москве, родился и вырос в Ленинграде. Там же, будучи студентом Технологического института, начал писать стихи. Поэтому вполне естественным может показаться причисление его к так называемой «Ленинградской школе». Школа эта просуществовала около десятилетия (1960—1970 гг.) и, в сущности, состояла из четырех поэтов, которых Анна Ахматова (чьим секретарем был Найман около шести лет) именовала «волшебным хором». Со смертью Ахматовой «волшебный хор» потерял свой купол, а к середине 1970-х Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман и пишущий эти строки оказались в разных частях света и мрака и перешли, если продолжить метафору, на сольное пение.

Обстоятельством не поощряющим, однако, навешивать на А. Наймана ярлык какой-либо школы, направления, течения и т. п., следует считать тот факт, что это — поэт рано, но раз навсегда сложившийся, сугубо формальный и необычайно технически одаренный, никогда и ни в чем собственной идиоматике не изменявший. Тон его поэзии — преимущественно медитативно-элегический, сторонящийся лобовой патетики и часто окрашенный сардонической иронией. Он избегает крупных форм, и основным его жанром является лирическое стихотворение, в котором он скорее автобиографичен, чем повествователен.

Единственный признак зависимости этого поэта от истории общества, в котором ему довелось жить, состоит в

том, что его поэтическая судьба оказалась не слишком счастливой: он практически не печатался и вот уже три десятилетия существует исключительно в рукописях. Данная книга — его первая, и выход ее почти совпадает с пятидесятилетием автора.

Говорить о поэтической генеалогии Наймана, о влияниях, прослеживаемых в его творчестве, — так же бессмысленно, как обсуждать достоинства и недостатки алфавита, которым он пользуется. Анненский, Ахматова, Блок, Мандельштам, Пастернак, Заболоцкий — вот первые буквы той азбуки, которая вошла в кровь и плоть всякого человека, пишущего в нашем веке по-русски. Их присутствие в поэзии послевоенного поколения неизбежно; оно есть и в стихотворениях данного автора и читателю следует быть только признательным ему за это. Добавлю, что Найман, может быть, единственный в современной русской поэзии, кто действительно научился поэтическому этикету у великого Данте и знает, с чем можно и с чем нельзя рифмовать слово Б о г.

Я рад, что дожил до выхода в свет этих стихотворений — как рад бывает человек, встретивший — через десятилетия — друга юности, каковым в моем случае Анатолий Найман и является. При встречах такого рода первое, что бросается в глаза, — это перемена наружности. Впрочем, к этому быстро привыкаешь, если не замечаешь перемен в сущности индивидуума. Перемен такого рода я не обнаружил; читатель, который прежде с этим автором не сталкивался, не заметит их тем более: он обнаружит — я уверен — поэта и человека, которого есть за что долго и сильно любить.

Иосиф Бродский

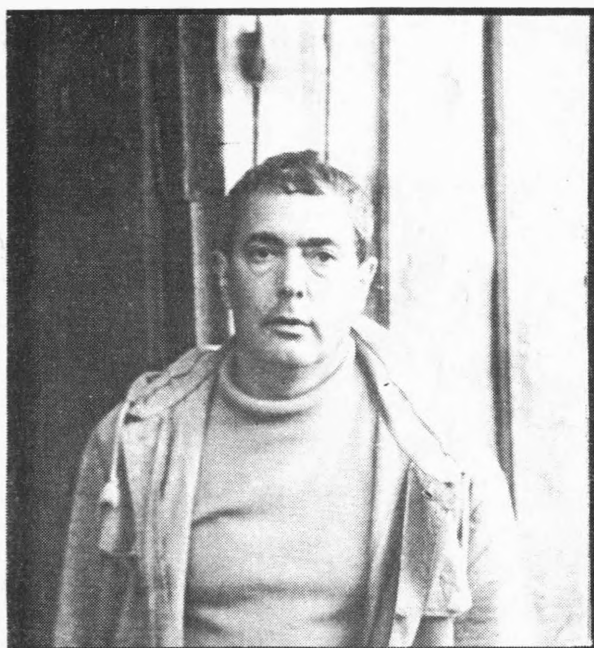
июнь 1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Сентиментальный марш	5
Двухголосная fuga	12
«Кончается лето...»	16
Картина в раме	17
Прощание с Ленинградом	19
Море	23
Памяти Л. Г.	25
Проезд Соломенной сторожки	27
«Мотылек красоты отлетает от Сладостной Дамы...»	29
Меченые дни	30
На смерть Юрия Галанкова	35
Поэт и святой	36
«Что-то надо не забыть...»	37
На отъезд Л. П.	38
«Обжора-разум, пьяница-душа...»	40
«Июль юлил миражем и ужом...»	41
«Увы, дряхлеет Рим...»	42
Дряхлеющий пейзаж	43
В ненастный день	44
Старая пластинка	45
Подражание Державину	46
«Дворничких метл мертв менуэт...»	47
Последнее стихотворение	49
ИЗ РАННИХ СТИХОВ	
Пойма	51
Дожди	53
Павловск осенью	55
Стихи о море	57
Польша с детства	58
Памяти убитых в хорошее время	59
Березовая роща	61
«Словно ветер дунул наконец-то...»	62
Стихи о вечной юности	63
Ленинградский синдром	65

Романс	68	
«Пьяницу тянет в кабак, к деткам — отца...»		69
«Отслаивается листва...»	70	
Зима	71	
«Китайским фонариком номер...»		74
«Не придаю иного смысла...»	76	
«Соловей запоеет...»	77	
«В октябре-ноябре, когда на́ землю...»		78
«Губы дуют в наледь...»	79	
«Рассветная песенка птичья...»	80	
«Порожденье ночного ума...»	81	
«Холодный комар, камикадзе Природы...»		82
Тишково	83	
«Тронул розу в кувшине за ствол...»		84
С Петроградской	79	
«Виска измученным крылом...»	86	
Памяти поэта	87	
«Ты начертил пейзаж лесов и вод...»		89
Послесловие Иосифа Бродского	90	

Печать и перешлет
выполнены
в типографии
New England Publ. Co.,
728 Hampden st.,
Holyoke, MA 01040
USA



АНАТОЛИЙ НАЙМАН родился в 1936 году в Ленинграде.

Его отец, инженер, был последовательным толстовцем, мать — врач, изучала медицину во Франции. Найман окончил Ленинградский технологический институт, позже — Высшие сценарные курсы в Москве.

К 1959 году относится его знакомство с Анной Ахматовой. Найман исполнял обязанности ее литературного секретаря и вместе с нею перевел избранную лирику Джакомо Леопарди.

На следующие два десятилетия переводческая деятельность стала главным средством заработка: среди переведенных им книг — антология «Песни трубадуров», старопровансальский роман в стихах «Фламенка», старофранцузские «Флуар и Бланшефлор», «Роман о Лисе».

Помимо стихов Анатолий Найман пишет еще и прозу. Большим успехом пользовались его воспоминания об Анне Ахматовой, напечатанные в журнале «Новый мир» (№ 1—3, 1989) и отдельной книгой (издательство «Художественная литература», Москва, 1989).

Живет в Москве.

Единственная подборка стихов Наймана до выхода этой книги — в сборнике «Памяти А. А. Ахматовой. Стихи, письма, воспоминания». УМСА-Press, 1974 год.